

# Тетради по консерватизму

ISSN 2409-2517

[ № 1 2021 ]

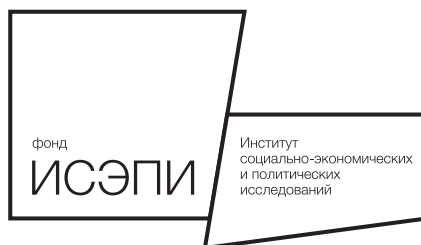
*Русское:  
откровение  
сокровенного*

фонд  
**ИСЭПИ**

Институт  
социально-экономических  
и политических  
исследований

# ДЪМАНАХ

[ Февраль 2021 г. ]



# Русское: откровение сокровенного

{ Февраль 2021 г. }

# Цетради

## по консерватизму

[ № 1 2021 г. ]

Москва  
Некоммерческий фонд – Институт  
социально-экономических и политических  
исследований (Фонд ИСЭПИ)  
2021

*В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии  
Министерства образования и науки Российской Федерации журнал включен  
в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,  
в которых должны быть опубликованы научные результаты диссертаций  
на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук по отраслям  
23.00.00 – Политология, 07.00.00 – Исторические науки и археология,  
09.00.00 – Философские науки.*

Рекомендовано к печати  
Экспертным советом Фонда ИСЭПИ

Редакционный совет

Д.В. Бадковский, А.Д. Воскресенский, А.А. Иванов,  
М.А. Маслин, Б.В. Межуев, А.Ю. Минаков, Р.В. Михайлов (гл. редактор),  
Е.Н. Мошелков, Л.В. Поляков (председатель), С.В. Перевезенцев, М.В. Ремизов,  
А.С. Ципко, А.Л. Чечевишников, А.А. Ширинянц, А.В. Щипков.

**Тетради по консерватизму:** Альманах. – № 1. – М.: Некоммерческий фонд – Институт социально-экономических и политических исследований (Фонд ИСЭПИ), 2021. – 376 с.

Принципиальное отличие консерватизма от противостоящих ему двух других идеологических систем – либерализма и социализма – заключается в том, что он видит в человеке прежде всего существо духовное. А значит в основе жизнедеятельности человека, способа его постижения мира, душевных стремлений и жизненной цели, согласно консервативному мировоззрению, лежит Культура. Культура как сфера реализации духовных ценностей конкретного народа, образующих тот самый уникальный национально-культурный код, чья неповторимость делает каждое подобное историческое сообщество единственным и самобытным. Многообразие этих уникальностей составляет цветущую сложность всего человечества, являясь ресурсом его выживания и развития. Поэтому культурные самобытности, согласно консервативному мировоззрению, подлежат защите как высшие ценности, как отражение судьбы народов в их ретроспективе и перспективе. Очередной номер альманаха «Тетради по консерватизму» посвящен Великой русской культуре, в которой нашли отражение обостренные духовные искания и особая цивилизационная судьба России.

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций.  
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77 – 67506.

© АНО «Средство массовой информации  
Альманах “Тетради по консерватизму”», 2021  
© Некоммерческий фонд — Институт  
социально-экономических и политических  
исследований (Фонд ИСЭПИ), 2021

Л.В. Поляков  
Слово к читателю  
9

---

Раздел первый

**Русский взгляд: икона – живопись – умосозерцание**

В.Ю. Даренский  
Иконичность русской культуры  
13

Е.В. Ковалева  
Е.Н. Трубецкой о взаимоотношениях сакрального и эстетического  
в древнерусской иконописи  
34

А.Г. Рукавишников  
Е.Н. Трубецкой и его эстетический анализ феномена православной иконы  
41

Ф.И. Гиренок  
Илья Репин: миф о русском мужике  
49

С.М. Санькова,  
Образ православного духовенства в русской бытовой живописи XIX – первой  
половины XX века  
54

В.Т. Захарова  
Русская религиозная философия и живопись Серебряного века  
в аспекте идеи созерцания  
68

Н.Н. Ростова  
Василий Polenov: разговор с душой  
75

Ф.И. Гиренок  
Апокалиптическое сознание в русской культуре  
84

Н.Н. Ростова  
Куинджи: светоносность русской культуры  
90

Б.А. Прокудин, А.Б. Прокудин  
«Троичное» сознание в русском мировидении  
98

---

*Раздел второй*

**Русское слово: опыт укоренения в Бытии**

С.В. Перевезенцев  
«Правду во царство свое введешь...»  
Образ «истинного христианского царства» в русских духовно-политических  
сочинениях середины XVI века  
123

С.В. Зеленин  
Кондратий Рылеев: поэт и заговорщик.  
Консервативный взгляд  
157

А.Ю. Минаков  
А.С. Пушкин как консервативный мыслитель  
223

Ю.В. Пущаев  
Достоевский как петрашевец: был ли молодой Достоевский революционером?  
229

В.Ю. Даренский  
Символика двойника как исток художественной антропологии Ф.М. Достоевского  
245

И.В. Логвинова  
Красота как мера духовности в романе Ф.М. Достоевского «Бесы»  
257

В.Т. Захарова  
Онтологическое восприятие действительности в прозе рубежа XIX–XX веков  
(А.П. Чехов, И.А. Бунин)  
263

---

*Раздел третий*

**Русский магический реализм**

В.Ю. Даренский  
Опыт духовного преображения в поэзии Е.А. Боратынского  
271

В.Ю. Даренский  
Медитативная лирика Афанасия Фета в восприятии разных эпох  
284

Б.А. Прокудин  
«Бесы»: консерватизм Достоевского и мышление «на краях»  
294

С.В. Парамонова  
«Тайна обновления для всех»: духовно-политические образы  
в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»  
308

В.Ю. Даренский  
Поэтический традиционализм И.А. Бунина: метафизический аспект  
321

А.Л. Казин  
Русское и советское  
К вопросу о русской классике и советском модерне  
330

Н.Н. Ростова  
Метафизический ландшафт Сибири.  
К юбилею писателя Анатолия Омельчука  
361

---

Рецензии

**Классное чтение**

Б.Ю. Александров, О.Е. Пучнина  
«Россия, Русь! Храни себя, храни!..»  
Размышления над книгой «Очерки истории русского хранительства»  
367

Г.В. Аксенова, А.А. Комаров  
«Русское хранительство» как отечественное понимание  
консервативной традиции  
371



## Опыт духовного преображения в поэзии Е.А. Боратынского

Но в искре небесной прияли мы жизнь,  
Нам памятно небо родное...

*Е.А. Боратынский*

Немногие поймут эти песни с их все более повышающейся к концу трансцендентностью. Они требуют второго зрения, перед которым самые осязаемые вещи только кажущиеся. За этой природой, как под маской, скрывается другая, в которой заблудилась эта первая, и раздавленная душа торжествует над миром этих дней.

*О. Шпенглер*

Метафизические рефлексии в поэзии Е.А. Боратынского<sup>1</sup> при всем разнообразии их конкретной тематики выстраиваются вокруг одного главного и исходного мотива, который определяется как духовное преображение («второе рождение», инициация). Субъект его поэтических медитаций в конце концов оказывается на границе миров – временного и вечного («Я из племени духов, / Но не житель Эмпирея»); он пребывает в состоянии перехода, который извне выглядел бы как смерть, но изнутри переживается как рождение в вечность («Где я наследую несрочную весну, / Где разрушения следов я не примечу»). Поэтическое состояние порождается именно переживанием этого перехода и создает особое видение реальности *sub specie aeternitatis* («На что вы, дни! / Юдольный мир явленья / Свои не изменит!»). В других стихотворениях также можно проследить внутренний сюжет «второго рождения» – преображения сознания и всего человека. Именно этот сюжет имеет особую экзистенциальную значимость для читателя, особенно современного, для которого часто именно опыт художественной литературы становится решающим фактором духовного развития. Целью данной статьи является краткий анализ этого «сквозного» сюжета лирики Е.А. Боратынского, его внутренней логики и проявлений в различных образах.

<sup>1</sup> Написание фамилии Е.А. Боратынского как «Баратынский» является его литературным псевдонимом, поэтому принято два варианта написания.



Известны слова А.С. Пушкина; «Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов. Он у нас оригинален, ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко. Гармония его стихов, свежесть слога, живость и точность выражения должны поразить всякого хотя несколько одаренного вкусом и чувством» [13, с. 185]. Обычно их понимают в весьма тривиальном смысле, обращая внимание на его философские сентенции в стихах. На самом же деле Пушкин имеет в виду нечто большее: он говорит о том, что сама поэзия Е.А. Боратынского имеет весьма специфическую направленность – это особая поэзия мысли, то есть поэзия, предметом которой является в первую очередь мысль, а все остальные ее предметности (внешний мир и внутренние чувства) в конечном счете подчинены этому главному предмету. Такие поэты бывают редко. В русской традиции ему близки Д. Веневитинов и А. Хомяков, в XX веке – Ф. Сологуб, а в западной – Р.М. Рильке. Поэзия мысли состоит не столько в бесконечных рефлексиях, как обычно думают, сколько в том, что поэт сам себя ставит под вопрос, непрерывно трансформируя собственное миропонимание. В этом можно усматривать параллель методу радикального сомнения Р. Декарта. Но это несколько не мешает «свежести слога, живости и точности выражения».

В известной книге С.Г. Бочарова «О художественных мирах» очерк о Е.А. Боратынском назван «Обречен борьбе верховной...» – той строкой поэта, которая наиболее концентрированно выражает его устремленность к высшим пределам и граням земного бытия. Ю.Ю. Анохина в статье «Категории бытия и небытия в книге стихов “Сумерки” Е.А. Боратынского» отмечает, что «возникнет соблазн назвать “Сумерки” “книгой об исчезновении”. Кажется, исчезает в книге почти все. Исчезает то, что было основой индивидуально-личного бытия, исчезает и то, что когда-то имело общечеловеческое значение. Однако по первом приближении к текстам увидим: уходящее исчезает не бесследно или приобретает иное качество» [1, с. 144]. С.В. Рудакова в статье «Мотив смерти в поэтическом мире Е.А. Боратынского» пишет о том, что у поэта «смерть уподобляется жизни, точнее, становится ее зеркальным отражением. Смерть – это и обитель, и селенья, и дом... То есть смерть в поэтическом мире Боратынского становится воплощением новой формы жизни, инобытием» [15, с. 94]. Впрочем, в свое время известный поэт Е. Винокуров писал о Боратынском как поэте-метафизике: «он через все видит смерть – через покровы, через “покрывало майи”:

О, все своей чредой исчезнет в бездне лет!  
Для всех один закон, закон уничтоженья.  
Во всем мне слышится таинственный привет  
Обетованного забвенья!

“Обетованное забвенья” – вот что несомненно для Боратынского, помнящего не о мире, а о законе мира. Если эти мотивы у Пушкина случайные, если они – минутная слабость великого певца “жизненного праздника”, то у Боратынского – это основное, главная тема, навязчивая идея. Декарт хотел найти нечто такое, что было бы абсолютно безусловным для того, чтобы опереться на это достоверное как на математическую истину. Так и рационалистический Баратынский, этот русский поэтический Декарт, увидел одно за всем живописным разнообразием мира и природы – это забвенья, это уничтоженья» [8, с. 204]. Как объяснить эту особенность его поэтического мира? Это не что иное, как «память смертная» – одна из главных христианских добродетелей – и она стала у поэта основой мироощущения.

Вместе с тем все авторы, писавшие об этом, в итоге говорят и о «победе над смертью» у Боратынского, которая достигается силой духа и поэтического слова. Но что означает эта победа? Она означает, что поэт переживает и выражает в словах своего рода акт «инициации» – символической смерти и посвящения в тайны бытия. Как известно, в архаических

обществах были специальные обряды инициации, лишь пройдя которые человек считался взрослым. Суть обрядов состояла в прохождении смертельно опасных испытаний и таких состояний, которые давали опыт на грани жизни и смерти, после чего испытуемому передавались жрецом некие тайные знания. В современной цивилизации таких обрядов нет (есть лишь их реликты в некоторых субкультурах), но роль мировоззренческой инициации в значительной степени берет на себя культура, в частности, художественная литература. Всегда, когда читатель произведения переживает состояние «переворачивания души» от прочтения текста, это состояние во многом аналогично архаической инициации.

Именно в этом общекультурном контексте в полной мере можно понять смысл и главный мотив многих стихотворений Баратынского. Ключевым из них является «Недоносок». В недавней статье Н.Н. Мазур, посвященной анализу этого стихотворения, отмечается близость образа Недоноска с Данте – вытесненный из земного мира, он чужд и миру загробному, оказываясь в хронотопе «между» мирами [10, с. 145]. Это так называемое лиминальное (пограничное) состояние, в которое человек вводится в обрядах инициации, отрываясь от мира земного и посвящаясь в мир сакральный. У поэта это состояние выражено как хотя и неудавшийся, но реальный личный опыт:

Я из племени духов,  
Но не житель Эмпирея,  
И, едва до облаков  
Возлетев, паду, слабея.  
Как мне быть? Я мал и плох;  
Знаю: рай за их волнами,  
И ношусь, крылатый вздох,  
Меж землей и небесами [2, с. 281]

В.Я. Брюсов в статье о Баратынском (1898) первым обратил внимание на это парадоксальное стихотворение, справедливо считая его переломным в духовном пути поэта, оказавшегося «существом, брошенным между двумя мирами, между землей и небом» [7, с. 226]. Позднее С.Г. Бочаров развернул это понимание следующим образом: «Стихотворение названо “Недоносок” – это его основная загадка. Собственно, о недоноске речь идет в последних строках – о недоноске, которого на земле, очевидно, на миг “оживил”, дал ему душу наш “бедный дух”. “Отбыл он без бытия: Роковая скоротечность!” Можно понять этого земного недоноска как мертворожденного, но, может быть, здесь говорится о роковой скоротечности человеческой жизни. Так или иначе, но несомненно, что название недоноска метафорически переносится с земного человека на самого бессмертного духа и становится символическим сгустком значений этого странного образа. Он остался невоплощенным и неприкаянным в “бессмысленной вечности”, ущербным и жалким, подобно реальному недоноску: в метафорическом расширении этого слова важнее предметного его значения становится значение экспрессивное, внушающее представление о неполноценности и ущербности. “Недоносок” – стихотворение о “бедности земного бытия”, ограниченной человеческой духовности, трагической промежуточности человека “меж землей и небесами» [6, с. 281–282]. Образ действительно архетипический, выражающий понимание души человека как особой метафизической сущности, связывающей его с миром иным.

С другой стороны, в этом образе «зашифровано» и авторское понимание себя. Так, поэт и культуролог А. Машевский в статье «Вопросы Баратынского» писал: «Что же это за существо, которое не может полностью быть в этом мире, погрузившись в его материальность, вещьность, а с другой стороны – не в состоянии стать чистым духом, уйти за облака? “Бедный дух! Ничтожный дух!” – это же человек, наделенный естественными земными по-

требностями, но не способный жить только ими, поскольку есть еще душа, увлекающая ввысь. Незаметно в рисуемый поэтом образ проникают его авторские черты. Недоносок, оказывается, “на земле оживил... арф небесных отголосок”, который он, впрочем, сам “слабо слышит”. Перед нами творец, застрявший между землей и небом, между свыше дарованной способностью видеть больше, чем другие, и необходимостью следовать своей слабой человеческой природе. Именно здесь трагедия» [11, с. 281–282]. Этой трагичности посвящена статья С.В. Рудаковой [16]. Но суть дела тут вовсе не сводится к «трагедии».

В свое время С.Г. Бочаров писал, что «Недоносок» – это «реализованная метафора как раз неочищенного смешения в человеческом духе небесного и земного, легкого и тяжелого» [5, с. 118], а само это стихотворение «об ограниченности человеческой духовности и бедности земного бытия» [5, с. 119]. Образ Недоноска парадоксален, потому что «“Недоносок” ни на что не похож и в лирике Баратынского, и во всей русской поэзии. Никак иначе не назовешь природу этого лирического героя, как метафорической, ибо это только метафора – но метафора олицетворенная, ставшая персонажем, лицом, существом... Но все же – не человек, а особое существо – метафора, не поддающаяся простой расшифровке. Метафора человеческого сознания, той Прометеевой искры, над которой не переставал всю жизнь размышлять Баратынский и которая здесь предстала столь слабой» [5, с. 117–118]. В более поздней статье С.Г. Бочаров рассмотрел связь этого стихотворения с известным образом из «Фауста» Гете, но при этом «отличие Недоноска на фоне гетевского Гомункула в том, что он обречен на вечную невоплощенность и отсутствие силы дать воплощение. Гомункул, стремясь к воплощению, достигает его парадоксальным образом, разлившись в волнах Эгейского моря» [4, с. 142]. Эта парадоксальная «метафора-существо» наиболее адекватным образом передает то преобразование человеческой души, которое она претерпевает в состоянии инициации: приобщившись к вечности, она вместе с тем познает и собственную ограниченность, требующую дальнейшего духовного подвига и роста. В этом – преодоление трагедии через высшее познание. В истории русской литературы парадоксальный образ «Недоноска» дал потом множество своих «потомков» в виде праведников, «людей не от мира сего» и просто «лишних людей». С.Г. Бочаров справедливо возводит к нему и образ князя Мышкина из «Идиота».

В свою очередь, в стихотворении «Последняя смерть» дана «формула» поэтического состояния, соответствующего акту духовного преобразования, «инициации», когда «с безумием граничит разуменье»:

Есть бытие; но именем каким  
Его назвать? Ни сон оно, ни бденье;  
Меж них оно, и в человеке им  
С безумием граничит разуменье [2, с. 130].

Это «пограничное» состояние сознания, когда оно «выпадает» из всех привычных связей и стереотипов и становится максимально открытым для новых содержаний. В стихотворении «Последняя смерть» перед духовным взором поэта пролетает вся история человечества – от ее начала до конца. Это как раз соответствует тем тайным знаниям, которые передавались адепту в ритуале инициации после того как он выдержал все необходимые испытания.

Генезис образа преобразующейся души просматривается у Баратынского с самых ранних его стихотворений. Еще в 1821 году, задолго до написания «Недоноска», в стихотворении «Напрасно мы, Дельвиг, мечтаем найти...» поэт уже намечает образ этого странного существа, помнящего о своей небесной Родине, но привязанного к земле. Здесь он говорит от первого лица:

Но в искре небесной прияли мы жизнь,  
Нам памятно небо родное... [2, с. 84]

По выражению Н.Н. Мазур, «Боратынский повторил пройденный Батюшковым путь от минимализма гедонистических тем к всеобъемлющей экзистенциальной рефлексии» [10, с. 154]. Однако в ранний период поэт воспринимает смерть и вечность крайне легкомысленно. Так, в стихотворении «Элизийские поля» (1825) он писал о смерти:

Я не страшуся новоселья;  
Где б ни жил я, мне все равно:  
Там тоже славить от безделья  
Я стану дружбу и вино...

О Дельвиг! слезы мне не нужны;  
Верь: в закоцитной стороне  
Прием радушный будет мне:  
Со мною Музы были дружны! [2, с. 67]

Как отметил И.А. Пильщиков, в первой редакции стихотворения текст был таким: «О Д<ельвиг>, слезы мне не нужны; / Любим я жребием – и весь / Я не умру ни там, ни здесь: / Со мною музы были дружны» [цит. по: 12, с. 66–67]. Здесь интересна не только прямая аллюзия на оду Горация, но и изменение смысла слов «не умру» – у Боратынского они относятся не только к земной славе, но и к бытию в мире ином. В еще более раннем стихотворении поэт обращается мысленно к Истине и просит ее открыться в момент смерти:

Явись тогда! раскрой тогда мне очи,  
Мой разум просвети,  
Чтоб, жизнь презрев, я мог в обитель ночи  
Безропотно сойти [2, с. 17].

Здесь уже намечен будущий переход от гедонистически воспринимаемых «Элизийских полей» к позднему суровому приготовлению к вечности у Е.А. Боратынского. Но в самой концентрированной форме он дан в стихотворении «Смерть», написанном в 1828 году, с его знаменитыми строчками:

Смерть дочерью тьмы не назову я  
И, раболепную мечтой  
Гробовый остов ей даруя,  
Не ополчу ее косою.

О дочь верховного Эфира!  
О светозарная краса!  
В руке твоей олива мира,  
А не губящая коса [2, с. 52]

Фактически у Е.А. Боратынского смерть здесь понимается как одна из космогонических сил, противостоящих хаосу и созидующих гармонию бытия. Это удивительно, ведь даже в античных космогониях у разных философов мы не находим ничего подобного. Здесь явно сказался уже особый библейский тип мышления поэта. В таком восприятии смерти поэт непосредственно выражает опыт «инициации» – приобщения души к вечности, внутренне пережитый им как новое, благоговейное отношение к смерти. Такой тип



поэзии очень хорошо охарактеризовал О. Шпенглер: «Немногие поймут эти песни с их все более повышающейся к концу трансцендентностью. Они требуют второго зрения, перед которым самые осязаемые вещи только кажущиеся. За этой природой, как под маской, скрывается другая, в которой заблудилась эта первая, и раздавленная душа торжествует над миром этих дней» [17, с. 126].

У Е.А. Боратынского есть стихотворение, в котором прямо сопоставлены два восприятия «заочного мира» обычными людьми и «посвященным» поэтом:

Толпе тревожный день приветен, но страшна  
Ей ночь безмолвная. Боится в ней она  
Раскованной мечты видений своевольных [2, с. 291].

Обычные люди, на тогдашнем поэтическом языке именуемые «толпой», боятся ночи, поскольку она лишает их опоры в виде привычного земного мира и отправляет в область свободной фантазии – сна. На самом же деле этих видений, всего лишь отражающих земное бытие, бояться не нужно:

Ощупай возмущенный мрак –  
Исчезнет, с пустотой сольется  
Тебя пугающий призрак... [2, с. 291]

У поэта же призвание иное: он как раз и должен исследовать эту надмирную область и принести оттуда весть:

О сын фантазии! ты благодатных фей  
Счастливый баловень, и там, в заочном мире,  
Веселый семьянин, привычный гость на пире  
Неосязаемых властей! [2, с. 291]

Поэтому поэт должен мужественно и мудро преодолевать как свою естественную привязанность к земному, так и субъективные фантазии – для того чтобы стать вестником из мира вышнего. Здесь Е.А. Боратынский ярко актуализирует смысл древнего латинского слова *vates*, которое одновременно означало пророка, поэта и учителя мудрости в их первичном синкретическом единстве. В этом стихотворении поэт призывается быть «посвященным» и выполнить свою миссию перед людьми. К нему обращены слова:

Мужайся, не слабей душою  
Перед заботою земною:  
Ей исполинский вид дает твоя мечта;  
Коснися облака нетрепетной рукою –  
Исчезнет; а за ним опять перед тобою  
Обители духов откроются врата [2, с. 291].

Позднее лирический герой Боратынского стал приобретать столь непривычные для обычного читателя черты, что вызывал недоумение и отторжение (в частности, у В.Г. Беллинского). Лишь единицы, такие как Пушкин и Вяземский, могли его понять и оценить по достоинству. Как вспоминал современник поэта М.Н. Лонгинов, книга Боратынского «Сумерки» (1842) «произвела впечатление привидения, явившегося среди удивленных и недоумевающих лиц, не умевших дать себе отчета в том, какая это тень и чего она хочет от потомства» [цит. по: 11, с. 9], но сам Боратынский, как будто предвидя

эту фразу, в стихотворении «Всегда и в пурпуре и в злате...» писал об этом: «Ты сладострастней, ты телесней // Живых, блистательная тень!». То есть на самом деле это тот образ *инобытия*, в котором душа, отрываясь от суеты обыденности, постигает свою *подлинность*:

И зачем не предадимся  
Снам улыбчивым своим?  
Бодрым сердцем покоримся  
Думам робким, а не им!

Верьте сладким убеждениям  
Вас ласкающих очес  
И отрадным откровеньям  
Сострадательных небес! [2, с. 275]

Естественно, был «суровый смех ему ответом». Но душа, пройдя инициацию, не только отрывается от обыденного мира, но и преображает его самим своим присутствием. В этом отношении очень характерен и весьма парадоксален образ винопития, о котором пишет поэт:

О бокал уединенья!  
Не усилены тобой  
Пошлой жизни впечатленья,  
Словно чашей круговой;

Плодородней, благородней,  
Дивной силой будишь ты  
Откровенья преисподней  
Иль небесные мечты [2, с. 286].

Обычно уединенное винопитие считается признаком деградации человека; это справедливо по отношению к обычным людям, но никак не по отношению к поэтам. Как признается в этом фрагменте Боратынский, у него это пробуждает «откровенья» о самых глубоких предметах размышления – «небесные мечты» и страх преисподней. Поэт осознает «эзотеричность» этой мудрости, полученной посредством «инициации» («откровения»): «И легких чад житейской суеты / Не посвятишь в свою науку; / Знай, горня иль дольная, она / Нам на земле не для земли дана» [2, с. 299]. Боратынский и место поэта в современной цивилизации тоже осмысливает через образ, производный от «недоноска». Если ранее в традиционной цивилизации, судьей ему был народ, способный понимать поэзию, то теперь все стало субъективно, и нет единого для всех критерия ценности поэтического слова:

Меж нас не ведает поэт,  
Его полет высок иль нет!  
Сам судия и подсудимый  
Пусть молвит: песнопевца жар  
Смешной недуг иль высший дар?  
Решит вопрос неразрешимый! [2, с. 299]

А. Машевский комментирует это следующим образом: «Ситуация и впрямь ужасная. Оказывается, теперь труд гения и графомана неотличимы» [11, с. 11]. Неотличимы они



для внешнего наблюдателя, но внутри поэт сам становится собственным судом, никакого внешнего «объективного» критерия больше нет. Тем самым поэт, подобно «недоноску», также обретается в состоянии «между», не зная, у него «смешной недуг или высший дар?». Тем самым, самоуверенность его как поэта также может быть только аналогом «инициации», то есть такого изменения души и сознания, когда собственный дар может быть только удостоверенным личным усилием. Однако парадоксальным образом именно это выталкивание поэта из жизни, его ненужность новому миру (отсюда тема стихотворения «Последний поэт») придает его миссии еще более важный и возвышенный смысл. А именно, поэту нужно перестать обращать внимание на глухоту современников и служить Вечности, лишь исполняя свой долг независимо от того, насколько он понятен другим:

Опрокинь же свой треножник!  
Ты избранник, не художник!  
Попеченья гений твой  
Да отложит в здешнем мире:  
Там, быть может, в горном клире,  
Звучен будет голос твой! [2, с. 293]

Характерно также, что черты трансцендентности, причастности миру иному Е.А. Боратынский усматривает не только в поэзии, но и в мысли:

Но пред тобой, как пред нагим мечом,  
Мысль, острый луч! бледнеет жизнь земная [2, с. 293].

В стихотворении «На посев леса» объединяются темы конечности земной жизни и призвания поэта. Посмертное бытие здесь названо «вечным днем», а зрелость души поэта достигла той точки, когда этот день для него ближе и яснее, чем привычное земное бытие. Но именно поэтому растет привязанность к последнему и желание оставить после себя максимум добра для живущих:

Но нет уже весны в душе моей,  
Но нет уже в душе моей надежды,  
Уж дольный мир уходит от очей,  
Пред вечным днем я опускаю вежды.

Уж та зима главу мою сребрит,  
Что греет сев для будущего мира,  
Но праг земли не перешел пиит, –  
К ее сынам еще взывает лира [2, с. 341].

Наконец, важнейший сюжет духовного преображения личности («второго рождения») связан с непосредственным обращением поэта к теме смерти и вечности – но уже не в легкомысленном ключе «Элизийских полей», а с полной серьезностью христианина. В этом отношении важнейшей является элегия «Запустение» (1832–1833) и ее окончание:

Но здесь еще живет его доступный дух;  
Здесь, друг мечтанья и природы,  
Я познаю его вполне:  
Он вдохновением волнуется во мне,  
Он славить мне велит леса, долины, воды;  
Он убедительно пророчит мне страну,



Где я наследую бессмертную весну,  
 Где разрушения следов я не примечу,  
 Где в сладостной сени невянущих дубров,  
 У нескудеющих ручьев,  
 Я тень священную мне встречу [2, с. 82]

Это стихотворение Боратынского, как известно, И. Бродский называл «лучшим стихотворением русской поэзии» [11, с. 10]. Загробная встреча с отцом в Элизии напоминает и о вергилиевской «Энеиде», в которой Эней также встречается со своим отцом, и о «Гамлете», где герой встречает тень отца. Важно здесь то, что смерть переживается не как уход из земного мира, а как встреча с самым дорогим человеком – отцом. Это совсем иное восприятие смерти – не страх, свойственный светскому индивидуализму, а соборное народное сознание, которое знает, что «у Бога все живы» (Мф. 22: 31). Здесь душа поэта из «недоноска», находящегося в «лиминальном» состоянии и еще не готового для небесного бытия, уже созрела и сама стремится к нему. Теперь это бытие в вечности для нее уже не абстракция и не гедонистические «Элизийские поля», а то место, где навсегда встречаются родные души.

Но как, находясь уже в таком состоянии духовной зрелости и готовности к бытию иному, поэт воспринимает свое бытие на земле? Об этом он говорит в одном из лучших своих стихотворений – как по глубине метафизического прозрения, так и по глубине лиризма. Вот его строки:

На что вы, дни! Юдольный мир явленья  
 Свои не изменит!  
 Все ведомы, и только повторенья  
 Грядущее сулит.

Недаром ты металась и кипела,  
 Развитием спеша,  
 Свой подвиг ты свершила прежде тела,  
 Безумная душа!

И, тесный круг подлунных впечатлений  
 Сомкнувшая давно,  
 Под веяньем возвратных сновидений  
 Ты дремлешь; а оно

Бессмысленно глядит, как утро встанет,  
 Без нужды ночь сменя,  
 Как в мрак ночной бесплодный вечер канет,  
 Венец пустого дня! [2, с. 288]

Удивительно точно и тонко здесь передано то архетипическое чувство бытия как «вечного повторения подобного», которое лежало в основе смысла времени в языческих культурах и отражалось в их календарных ритуалах. А циклический церковный календарь говорит о том, что эта структура времени вовсе не «отменена» христианством, но последнее лишь поставило над ним более высокое эсхатологическое время. У современных поэтов такое глубинное восприятие времени открывается только в особых «наитиях» (для сравнения можно вспомнить строки Б. Пастернака: «На протяженье многих зим / Я помню дни солнцеворота, / И каждый был неповторим / И повторялся вновь без счета», когда «Нам кажется, что время стало... И дольше века длится день»). Но такое восприятие времени возникает только перед лицом Вечности.



Таким образом, личностное развитие поэта, индивидуальная траектория эволюции его души в конечном счете привели его к общечеловеческому опыту жизни и смерти, доступному лишь «посвященным». То есть людям с особым строем души, способной познавать «тайны бытия». Этот особый характер его поэзии как постижения всеобщего опыта уже отмечался исследователями. Е.Н. Лебедев писал: «“я” поэта, *не переставая быть неповторимым*, то есть ни на йоту не изменяя своей природе, становится еще и *могучим и свободным* “я”, ибо не в грезе, не в мечтательном полусне каком-нибудь, а действительно, воистину вмещает в себе целое. Боратынский имел полное право сказать о себе:

В борьбе с тяжелою судьбою  
Познал он меру вышних сил,  
Сердечных судорог ценою  
Он выраженье их купил» [9, с. 38].

Что же открылось душе поэта после этого преображения? В большом стихотворении, названном «Отрывок» (видимо, это была часть ненаписанной поэмы) лирический герой ведет такой диалог со своей возлюбленной:

Он

Но все ж умрем мы наконец,  
Все ляжем в землю.

Она

Что же, милый?  
Есть бытие и за могилой,  
Нам обещал его Творец.  
Спокойны будем: нет сомненья,  
Мы в жизнь другую перейдем,  
Где нам не будет разлученья,  
Где все земные опасенья  
С земною пылью отряхнем.  
Ах! как любить без этой веры!

Он

Так, Всемогущий без нее  
Нас искушал бы выше меры;  
Так, есть другое бытие!  
Ужели некогда погубит  
Во мне Он то, что мыслит, любит,  
Чем Он созданье довершил,  
В чем, с горделивым наслажденьем,  
Мир повторил Он отраженьем  
И сам Себя изобразил?  
Ужели творческая сила  
Лукавым светом бытия  
Мне ужас гроба озарила,  
И только?.. Нет, не верю я.

.....  
Нет! мы в юдоли испытанья,  
И есть обитель воздаянья;  
Там, за могильным рубежом,

Сияет день незаходимый,  
И оправдается Незримый  
Пред нашим сердцем и умом.

*Она*

Зачем в такие размышленья  
Ты погружаешься душой?  
Ужели нужны, милый мой,  
Для убежденных убежденья?

Премудрость вышнего Творца  
Не нам исследовать и мерить;  
В смиренье сердца надо верить  
И терпеливо ждать конца.

Пойдем; грустна я в самом деле,  
И от мятежных слов твоих,  
Я признаюсь, во мне доселе  
Сердечный трепет не затих [2, с. 154–156].

Мы сознательно привели такой большой фрагмент поэтического текста. В этом поэтическом диалоге в первую очередь просматривается параллель с известным диалогом Фауста и Маргариты, в котором она уличает Фауста в безверии. Этот диалог у Е.А. Боратынского имеет по отношению к диалогу в «Фаусте» своего рода симметричный смысл: здесь герой сам высказывает ей и свои критические размышления, и свою твердую веру. Героиня тоже смущена, как и Гретхен, поскольку тоже не привыкла к богословским рассуждениям. Но если Маргарита заканчивает отчаянием, чувствует мистический ужас перед Мефистофелем (бесом) и в результате погибает, преданная Фаустом, то у русской героини тревога («сердечный трепет») приведет лишь к еще большей мудренности в вере. Интересно, что герой диалога здесь формулирует своего рода антропологическое доказательство бытия Божия, суть которого состоит в том, что поскольку в человеке есть некое сверхприродное совершенство, то оно может исходить только от самого Творца и гарантирует бессмертие души. Иначе само существование человека бессмысленно как таковое. Хотя диалог разделен на двоих высказывающихся, но в нем поэт, несомненно, отражает две стороны своей души – активно-критическую и интуитивно-мистическую, причем за последней остается последнее слово. Это внутреннее раздвоение души необходимо для достижения ею полной зрелости в вере, и оно также является своего рода «инициацией», в которой душа устраивает себе своего рода самопроверку. В строгой форме аналог этому диалогу можно найти в «методическом сомнении» Р. Декарта, а Е.А. Боратынскому удалось столь емко выразить его в поэтической форме. Итогом всех духовных поисков поэта стало возвращение к смиренной вере отцов, также вылившееся в одно из лучших его стихотворений «Молитва», поражающее сочетанием простоты и глубины:

Царь Небес! Успокой  
Дух болезненный мой!  
Заблуждений земли  
Мне забвенью пошли  
И на строгий твой рай  
Силы сердцу подай [2, с. 340].



На этом уровне поэт понимает теперь и весь земной удел человеческий. Но твердая и живая вера, как понял теперь поэт, также вовсе не обеспечивает некогда искомого им «счастья», но делает душу еще более уязвимой и от внешних соблазнов, и от ее внутренней слабости. Это уже последняя аскеза души, близкая к монашеской, но доступная каждому:

Знай, страданью над собою  
Волю полную ты дал,  
И одной пятой своею  
Невредим ты, если ею  
На живую веру стал! [2, с. 289]

По точному определению В.Я. Брюсова, Е.А. Боратынский прошел все ступени становления духа, и «этими ступенями были: сначала беспечный эпикуреец, или деланная разочарованность, потом рассудочное миропонимание с тяготением к буддизму и, наконец, покаянное возвращение к вере» [7, с. 227].

Утвердившись хотя бы «одной пятой» на живой вере, человек не избежит страданий – наоборот, они станут еще сильнее в качестве скорбей, ведущих его ко спасению, очищая и преображая душу. Но только так бывший «недоносок» обретает свое предназначение – преобразиться и стать, наконец, «достойным» вечности. Таким образом, Е.А. Боратынский актуализировал древнейшую, изначальную функцию поэзии – слова как духовного посвящения. В современной утонченной художественной форме слово способно порождать в человеке такие же предельные экзистенциальные состояния, как и архаический ритуал инициации. Она близка и глубине православного молитвенного опыта, близко подводя к нему душу. Функция поэзии как фактора духовного пробуждения, «второго рождения» человека в наше время важна, как никогда ранее.

## Литература

1. Анохина Ю.Ю. Категории бытия и небытия в книге стихов «Сумерки» Е.А. Боратынского // Научный диалог. 2017. № 10. С. 129–148.
2. Боратынский Е.А. Стихотворения. Поэмы / изд. подгот. Л.Г. Фризман. М.: Наука, 1982. 720 с. (Литературные памятники).
4. Бочаров С.Г. «О бессмысленная вечность!» (От «Недоноска» к «Идиоту») // К 200-летию Боратынского: сб. материалов междунар. науч. конф., состоявшейся 21–23 февраля 2000 г. М.: ИМЛИ РАН, 2002. С. 127–151.
5. Бочаров С.Г. «Обречен борьбе верховной» / С.Г. Бочаров // О художественных мирах. М.: Сов. писатель, 1985. С. 69–123.
6. Бочаров С.Г. «Поэзия таинственных скорбей» // Боратынский Е.А. Стихотворения. М.: Сов. Россия, 1976. С. 268–287.
7. Брюсов В.Я. Мироззрения Боратынского / В.Я. Брюсов // Ремесло поэта: Статьи о русской поэзии. М.: Современник, 1981. С. 220–227.
8. Винокуров Е. Поэзия мысли // Октябрь. 1975. № 2. С. 204–208.
9. Лебедев Е.Н. «Он с лирой между вас» // Боратынский Е.А. Стихотворения. Эпиграммы. Поэмы. Мысли о литературе. Воронеж: Центрально-черноземное книжное издательство, 1977. С. 7–38.
10. Мазур Н.Н. «Недоносок» Боратынского // Поэтика. История литературы. Лингвистика: сб. к 70-летию Вяч. Вс. Иванова / редкол.: А.А. Вигасин, Р. Вроон, М.Л. Гаспаров, А.А. Зализняк и др. М.: ОГИ, 1999. С. 140–168.
11. Машевский А. Вопросы Боратынского // Литература. 2002. № 14. С. 8–12.
12. Пильщиков И.А. О «французской шалости» Боратынского («Элизийские поля»: литературный и биографический контекст) // Русская антропологическая школа. Вып. 2. М.: РГГУ, 2004. С. 61–88.
13. Пушкин А.С. Боратынский / А.С. Пушкин // Полн. собр. соч.: в 16 т. Т. 11: Критика и публицистика, 1819–1834. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. С. 185–187.
14. Рудакова С.В. Динамика изменений сознания лирического героя книги «Сумерки» Е.А. Боратынского // Вестник Магнитогорского государственного технического университета имени Г.И. Носова. 2011. № 2 (34). С. 84–86.